

Михаил Рыклин

ФИЛОСОФИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ

1. Введение в ситуацию

В советские времена философия преподавалась как обязательный предмет во всех высших учебных заведениях. Курсы по философии были, как правило, стандартными и состояли из пересказа классиков марксизма, критики их оппонентов и докательства того, почему диалектический и исторический материализм являются вершиной мировой философии, а научный коммунизм – ее практическим применением. Читать подобные курсы было несложно; это было под силу попавшему в опалу партийному функционеру или ученому, не выдержавшему конкуренцию в своей узкой специальности. Еще одна особенность советского периода состояла в том, что Академия и Университет функционировали параллельно. В результате авторы специальных трудов редко работали со студентами, а многие преподаватели печатали ровно столько научных работ, сколько было необходимо для защиты диссертаций и занятия соответствующих вакансий. По этому шаблону было подготовлено огромное количество профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук; все это в течение полувека делалось в рамках госзаказа, которому, казалось, не будет конца.

Наиболее способные специалисты концентрировались на кафедрах и в секторах истории философии, где требовалось знание иностранных языков и опыт чтения сложных текстов, а также в области логики, тесно соприкасавшейся с математикой и тоже достаточно интернационализованной. Эта система окончательно сложилась в СССР во время сталинского террора (а до этого Ленин отправил в Европу знаменитый «пароход философов», на борту которого уплыли многие из известных дореволюционных мыслителей), отчасти уничтожившего, отчасти смертельно напугавшего и «деполитизовавшего» тех, кто продолжал философскую работу в СССР. Слепое подчинение диктату партии трактовалось как добродетель, которая вознаграждалась, даже если наградой оказывалось простое физическое выживание, цена которого в те времена возросла чрезвычайно. В гуманитарных науках свирепствовал «принцип партийности», который в дохрущевские времена проводился в жизнь с особой непреклонностью. Но и в

более либеральные времена защитить докторскую диссертацию по философии, не будучи членом КПСС, было возможно только в виде редчайшего исключения. При такой системе ни о какой международной конкуренции в области философии не могло быть и речи; подготовленные в ее рамках специалисты были полностью зависимы от особых условий, в которых они функционировали, а так как других условий большинство из них не знало, то ему казалось, что подобное положение дел будет длиться очень долго.

И вот эта инфраструктура рухнула. Не от ударов революционеров, жаждавших перемен, она просто обвалилась от собственной неэффективности, ригидности и неразрывной связанности с конкретной политической системой. Многие из вчерашних специалистов по историческому материализму стали социологами, по научному коммунизму – политологами. Они пытались привычно обслуживать новую ортодоксию, но она, в отличие от советской, на идейном уровне так и не состоялась. Новое государство с обезоруживающей откровенностью отказалось от большинства своих обязательств по отношению к культуре, фактически объявив себя банкротом. Это дало ему возможность одновременно исповедовать национализм, национал-коммунизм, либерализм и слегка перекрашенный в местные тона фашизм.

Свобода была поспешно объявлена декретом, но после трех поколений, выросших в условиях коммунистической диктатуры, в России не было ни свободных институтов, ни достаточного числа свободных людей, способных быстро сформировать такие институты. В университетской сфере произошло примерно то же самое, что и в других областях: централизованная система высшего образования, унаследованная от СССР, была приватизирована достаточно узким кругом лиц. В этом смысле университеты отличались от нефтяных скважин только нормой прибыли, которая в первом случае была существенно ниже, но сам принцип приватизации оставался схожим; при этом ее конкретные механизмы крайне запутанны и являются тщательно скрываемой «приватизаторами» тайной. При новой системе достаточный уровень жизни обеспечивает себе только административная верхушка учебных заведений, контролирующая финансовые потоки. Большинство же преподавателей не могут качественно работать – ведь из-за крайне низкой оплаты их труда они вынуждены читать много курсов в разных учебных заведениях.

В современной России прогрессирует инфляция институтов. С одной стороны, они растут как грибы. Бывшие институты становятся университетами, университеты – академиями и т.д. Даже государственные учреждения в значительной мере коммерциализованы (взимают деньги за обучение, сдают помещения внаем). С другой стороны, эти учреждения все

меньше способны выполнять взятые на себя обязательства, уровень подготовки студентов падает, дипломами откровенно торгуют и т.д.

Несколько лет тому назад два берлинских художника изучали институты современного искусства в Москве и пришли к неутешительному выводу: их скорее следует называть субститутами современного искусства. Все они носят виртуальный, по сути неинституциональный (в западном смысле слова), характер. Они существуют исключительно *«durch Benennung von Einzelpersonen und deren kommunikative Aktivitäten»*. В отличие от открытых публичности институтов, субституты аморфны и в высокой степени персонифицированы (одна из их основных функций – обеспечивать их основателей средствами существования и влияния). Механизмы приватизации таких институтов остаются, повторяю, тщательно скрываемой тайной. Немецких художников удивило то, что в Москве институты современного искусства существуют вдали от света публичности, в заброшенных зданиях, в мастерских и даже в бункерах.

Конечно, высшие учебные заведения более публичны, чем описанные институты, но их роднит с ними непрозрачность управления, отличие реального положения дел от провозглашаемых целей, нереалистичное завышение своих возможностей. Логика ситуации в общем такова: не общество возвращает современную культуру – в том числе и современную философию – в своих недрах, но сама она производится в расчете на то, что в будущем станет объектом потребления. Она является не продуктом уже сформировавшейся потребности, но упованием на то, что такая потребность возникнет в не слишком отдаленном будущем (допущение, являющееся спекулятивным и предполагающее определенный гипотетический сценарий развития общества).

Однако было бы упрощением представлять дело так, что единственным вместилищем реальности является Запад, а уделом России остаются мнимости. Это отбросило бы нас к популярной в XIX веке точке зрения, классически выраженной маркизом де Кюстином:

Россия – империя каталогов: если пробежать глазами одни заголовки – все покажется прекрасным. Но берегитесь заглянуть дальше названий глав. Откройте книгу – и вы убедитесь, что в ней ничего нет: правда, все главы обозначены, но их еще нужно написать.

Не стоит понимать буквально эффектные обобщения такого рода. В субститутах надо научиться видеть не пустоту, которую предстоит заполнить, а ту единственную п о з и т и в н у ю форму, в которой здесь и теперь могут существовать институты. Более того, определенная, не столь высокая, как в России, «субститутность» присуща всем институциональным образованиям, как бы близко они ни соприкасались с публичностью. Институт в

определенном смысле представляет собой интериоризацию субститута. Просто в России эта интериоризация до настоящего времени не состоялась.

Когда я думаю об институтах образования в современной России, мне вспоминается следующий случай. Улица, на которой я живу, завершается зданием больницы, врачом в которой был отец Ф.М. Достоевского. Там писатель родился и провел детские годы, там же расположена музей-квартира Достоевского. Я нередко водил туда друзей, в основном иностранцев, и хорошо помнил, что рассказывали экскурсоводы, они же научные сотрудники музея: что мебель в квартире – просто мебель того времени, она не принадлежала семье писателя, аутентично только перо, которыми были написаны *Братья Карамазовы*. Недавно я еще раз посетил это учреждение с известным немецким славистом, уроженцем Ленинграда. Экскурсию на этот раз вела «бабушка» вроде тех, какие раньше работали в гардеробе (видимо, научные сотрудники перешли туда, где их труд лучше оплачивается); певучим голосом она рассказала нам, что в этой вот кровати спал маленький Федя, за этим столом он делал уроки, здесь семья пила чай... На наши вопросы она отвечала, что это подлинные вещи семьи Достоевских, чудом пережившие более полутора веков. На знаменитое же перо, которое лежит под стеклянным колпаком на выходе из музея, «бабушка» не сочла нужным обратить наше внимание: видимо, после сотворенного ею мифа оно показалось ей мелочью.

Зачем я привел эту незамысловатую историю? Она хорошо передает прежнее и нынешнее состояние российских институтов. Научные сотрудники советского времени отличали подлинное от благоприобретенного, современные же «бабушки» (которые зачастую далеко не так бескорыстны, как наш экскурсовод), объявляя аутентичным все, что им заблагорассудится, лишают подлинно аутентичное (в данно случае перо) какой-либо ценности. Конечно, и перо аутентично, но наряду со всем остальным, в нем нет ничего особенного. Они создают у экскурсантов чувство неоправданной эйфории, тем кажется, что они погружаются в интимную атмосферу семьи великого писателя, но это иллюзия, которая обречена рассеяться от первого же контакта с архивом этого музея. Создание подобной эйфории необходимо организаторам «субститутов» в коммерческих целях, но оно предполагает неискушенность публики. А что если попадется публика искушенная?

2. Аристократический университет – опасная иллюзия

На другом полюсе подобная профанация знания в качестве аллергической реакции вызывает к жизни «идею» аристократического университета,

университета внутри университета. Ее сторонники усматривают в кризисе благо. Да, говорят они, институты разлагаются, преподаватели не готовы решать новые задачи, большинство студентов инертно, плохо посещает лекции. Но есть немногие лучшие преподаватели, которые привлекают немногих лучших студентов, и их союз дает право на оптимизм. Вот как описывает ситуацию известный российский философ Валерий Подорога:

Распад академической жизни привел к тому, что студент стал крайне избирателен [...] В специфически русской кризисной ситуации он учится у очень ограниченного круга преподавателей. Стандартное, «нормальное» философское преподавание и наука потерпели наибольший урон. Преподавательский состав, который привык работать на передаче традиции, привычек, навыков, которые вырабатываются годами академической жизни, распался. Остался круг фигур, которые читают по сути дела авторские курсы, но через них лучшие студенты проходят обычный курс.

Такие профессора оценивают нынешний кризис институтов философского образования в целом позитивно, так как он создает благоприятный фон для их работы с «лучшими» студентами. Только немногие преподаватели отвечают требованиям этих «лучших», потому что они и теперь, и в прошлом работали на значительно более высоком уровне, чем их коллеги; просто в кризисной ситуации это обстоятельство стало очевидным. То, что подобных профессоров единицы, наполняет их тем большей гордостью: ведь теперь, когда студенты могут выбирать, а не посещают лекции по обязанности (особенно если оплачивают свое обучение), становится ясно, кто есть кто в философии. Да, лучших преподавателей единицы, но именно они составляют основу будущего университета. Кризис, по их мнению, лишь оттеняет необходимость радикальной реформы философского образования, естественно, на основе того, что такие преподаватели делают уже сейчас. Они видят выход из кризиса в своей работе с лучшими студентами. Но что делать со всеми остальными студентами? И как быть с основной частью преподавательского корпуса, который оказался совершенно неподготовлен к свалившейся на него свободе, напоминающей скорее анархию?

На эти вопросы сторонники идеи аристократического университета не дают вразумительного ответа: хотя их университет будущего отчасти реализован уже в настоящем. Он напоминает скорее не демократический институт образования, а эзотерическую группу, сплотившуюся вокруг харизматического лидера. Я лично с опасением отношусь к подобным идеям, всерьез воспринимая предсмертный наказ Макса Вебера, предупреждавшего в лекции «Наука как призвание» об опасности использования университетской кафедры в целях проповеди, пусть даже ее предметом будут достаточно абстрактные философы. К тому же нет никакой

уверенности как в том, что и другие, на взгляд «лучших», посредственные преподаватели не вынашивают подобных же проектов, так и в том, что круг лучших студентов ограничивается поклонниками данного профессора.

Еще более радикализуют идею аристократического университета те, кто считают философию в принципе неинституциональным, даже антиинституциональным делом. Настоящая философия, считает культуролог и киновед Михаил Ямпольский, всегда дестабилизирует институты, так что любая институционализованная форма философствования не является подлинной, это – псевдофилософия. В таком случае отпадает нужда в любом университете, даже аристократическом, и становится неясным, какими средствами такая радикально индивидуализованная философия вообще будет передаваться. Ведь «дестабилизирующей функцией» философия может обладать лишь в контексте достаточно сильных институтов (которые она дестабилизирует), а не в безвоздушном, внеинституциональном пространстве.

Такая радикализация, конечно, неслучайна: идея аристократического университета – и не только, как нам еще предстоит убедиться, в России, но и в Германии – при попытке ее осуществления взрывает университет изнутри, ставит под вопрос само его существование.

Я бы хотел проиллюстрировать эту идею на немецком примере, так как в Германии, в отличие от России, философия издавна пользовалась общественным признанием, более того, вызывала энтузиазм, не всегда понятный другим, более прагматичным европейским народам. В России, как все хорошо знают, сходную роль играла литература, и теперь философия мучительно выбирается из кокона этой традиции.

Итак, прежде чем возвратиться в родные пенаты переместимся в Веймарскую Германию начала 20-х годов XX века.

3. *Finis universitatum*

В 1920 году на праздновании дня рождения Эдмунда Гуссерля в его фрайбургском доме познакомились доктор медицины Карл Ясперс, только что ставший профессором философии в Гейдельберге, и Мартин Хайдеггер, молодой преподаватель философии местного Университета. Их сблизило исключительно серьезное отношение к философии, недовольство засильем посредственностей в тогдашней университетской среде, а также уверенность в том, что в будущем им суждено изменить эту ситуацию, возродив древнее искусство философии во всей ее подлинности. Бывший психиатр и бывший теолог, избравшие философию по призванию во время, как им казалось, омассовления культуры и банализации человеческих

отношений образовали то, что сами они стали называть «боевым содружеством» (*Kampfgemeinschaft*) с целью возрождения духа настоящей философии, выветрившегося, по их мнению, из немецких университетов. Хайдеггер, «волшебник из Мескирха», уже тогда славился как преподаватель, обладавший даром делать мысли древних и новых философов наглядными; его семинары привлекали студентов несмотря на высокие требования, которые он предъявлял к их работе. В Марбурге еще до опубликования *Бытия и времени* этой славе предстояло стать всенемецкой. Ясперс также был не просто талантливым преподавателем, но автором новаторской книги *Психология мировоззрений*, которая содержала т тдсе зачаток оригинальной философской системы.

В том же 1920 году началась переписка, длившаяся – правда, с очень большими перерывами – более сорока лет.

Читая эти казалось бы ясные тексты, испытываешь тем не менее затруднение. Мы привыкли считать этот период «серебряным веком» немецкой философии и «наук о духе». В *Переписке* же такие имена, как Гуссерль, Шелер, Кассирер, не говоря уж о Риккертe, Виндельбанде и других философах, оцениваются изнутри этого времени и среды необычайно критически, иногда даже иронически. По этим высказываниям можно судить, на какой высокий уровень надеялись поднять планку философствования сами Ясперс и Хайдеггер, каким масштабом предстояло измерять то, что они намеревались сделать.

Нас, привыкших за последние годы к исключительной слабости российских академических институтов (и благословляющих эту слабость на фоне их прежнего советского «величия») удивляет еще одна черта переписки. Эти, буквально одержимые делом философии, люди прекрасно разбираются в карьерной, институциональной стороне своего призвания. Заинтересованно, местами страстно, они обсуждают освободившиеся вакансии и перемещения в университетской среде: вопрос о том, кто был на каком месте в списках на занятие должностей, дебатруется не менее подробно, чем собственно философские проблемы. Претендентов при этом оценивают не просто по «гамбургскому счету», но и с точки зрения реализации собственных карьерных устремлений; причем в качестве советчика почти неизменно выступает Карл Ясперс. Бескорыстное парение в сфере духа не исключает искушенности в практических вопросах, а низкая оценка тогдашней университетской философии не только не означает (как это сплошь и рядом происходит в современной России) институционального разрыва с ней, но, напротив, обосновывает право на более сильные институциональные позиции, чем те, которые занимают критикуемые «посредственности». Оба корреспондента вынашивают планы реформы университетской философии в русле по-разному (эта разница проявится

несколько позже) понятого «аристократического принципа», и один из них вскоре попытается воплотить свои планы в жизнь в радикально изменившихся обстоятельствах.

Необходимость реформы объясняется крайним упадком немецкого студенчества. Большинство студентов «неподлинно», поверхностно склонно к пустым разговорам, слепо верит в ложные авторитеты, стремится к диплому из утилитарных соображений. Есть редкие исключения, но и они неустойчивы и в любой момент могут быть поглощены неблагоприятной средой. Кроме того, они существуют не сами по себе, а благодаря исключительным преподавательским усилиям членов «боевого содружества», особенно Мартина Хайдеггера.

Совместно исповедуя «аристократический принцип», Хайдеггер и Ясперс были согласны в том, что надо оставить философские кафедры за лучшими, пусть немногими «избранными умами», что обилие посредственностей наносит делу преподавания огромный вред. При этом молчаливо предполагалось, что сами они, будучи такими умами, владеют критериями выделения этих немногих из общей массы и, главное, что им удастся сколько-нибудь цивилизованным образом, т.е. не прибегая к явному насилию, убедить «массу» (в которой, кстати сказать, многие тогда вынашивали подобные планы) с этим решением согласиться. Пока при Веймарской республике университетская система функционировала более или менее упорядоченно (права ректоров и деканов уравнивались сенатами, признавалась известная автономия университетов перед министерствами и т.д.), революционные замыслы были частным делом «заговорщиков» и не представляли особой опасности, тем более, что последние были интегрированы в университетскую среду и прекрасно знали, по каким правилам она работает.

Все это радикально меняется с приходом к власти национал-социалистов в 1933 году. Слово *Gleichschaltung* начинает звучать угрожающе. Оно означает: в Германии теперь есть господствующая идеология и к ней надо присоединяться. К непокорным будут применены жесткие меры. Революционность – уже не чья-то приватная фантазия, а закон, вменяемый новой господствующей силой всем и каждому. Ясперс хорошо понимает это. 21 апреля 1933 года Хайдеггер становится Ректором Фрайбургского университета и теперь ему предстоит осуществить реформу университета, вытекающую, как он полагает, из существа идущей от греков философии. Ему предстоит воплотить в жизнь то, что задумал Фридрих Ницше. Ясперс напоминает об этом в связи со знаменитой Ректорской речью, произнесенной Хайдеггером в мае 1933 года: «[...] Вы согласуетесь с Ницше, отличаясь от него только в следующем: есть надежда, что Вы сможете,

философски интерпретируя, *осуществить* то, о чем говорите. Благодаря этому субстанция Вашей речи звучит убедительно» (письмо 119).

Письмо Ясперса написано в августе 1933 года и включает в себе скрытую иронию. Уже в мае он разочаровался в своем друге, прослушав его доклад в Гейдельберге. «По форме, – писал позже Ясперс, – это был мастерский доклад, а по содержанию – программа национал-социалистического обновления университета» (примечание 307). Тогда же произошла их последняя личная встреча в доме Ясперса. На ней среди прочего обсуждалась реформа университета.

За столом он [Хайдеггер -М.Р.] сказал слегка сердитым тоном: это безобразие, что существует столько университетских профессоров – во всей Германии следовало бы оставить двух или трех. «Кого же?» – спросил я. Никакого ответа (примечание 307).

Эта фраза Хайдеггера вытекала из всего контекста предшествующей переписки. Сам Ясперс в 1936 году настаивал на резком сокращении числа заведующих философскими кафедрами. Однако к этому времени ситуация радикально изменилось. Одни и те же слова приобретают во времена диктатуры совершенно другой смысл. Теперь, в мае 1933 года, Ясперс не может быть в числе этих «двух или трех» не по каким-то абстрактным философским причинам, а просто потому, что женат на еврейке и не является членом партии. Слова остались теми же и одновременно стали совершенно иными.

О хайдеггеровском ректорате написано много, и я не буду здесь вдаваться в детали. Итог известен: он одним из первых в Германии ввел принцип фюрерства во Фрайбургском университете, стремился к максимальной милитаризации образования («суды чести» среди профессоров на манер офицерских, военные игры и общественные работы для студентов и пр.).

Вот как оценил проведенную Хайдеггером реформу университета – прежде всего, конечно, принцип фюрерства – его предшественник на посту ректора прелат Joseph Sauer (дневниковая запись от 22 августа 1933 года): «Finis universitatum [...] Und das hat uns dieser Narr von Heidegger eingebracht? Den wir zum Rektor gewählt haben, dass er uns die neue Geistigkeit der Hochschule bringe. Welche Ironie!»¹ В 1945 году даже такие благожелательные к философу коллеги, как ботаник Фридрих Оелкерс признавали, что в тот период он нанес своему университету «очень большой вред». При этом никто не сомневался в исключительной одаренности Хайдеггера как философа.

¹ Ott H. 1992. Martin Heidegger. Unterwegs zu einer Biographie. F. u.a., 191.

И тем не менее никто иной как Карл Ясперс в отзыве от 22 декабря 1945, сыгравшем решающую роль в «деле Хайдеггера», настаивал на необходимости отстранения философа от преподавания как представляющего опасность для молодежи в нестабильной послевоенной обстановке.

Философское размежевание Хайдеггера с национал-социализмом начинается с его лекций о Ницше в 1936 году. Но эта внутрифилософская полемика представляется его коллегам недостаточным свидетельством «очищения». Они, как и Ясперс, утверждают, что, так как его ректорство было воинствующе публичным, и его отречение от прежней веры не может замкнуться рамками полемики с Ницше о природе воли к власти и новым прочтением гимнов Гельдерлина. Оно, по их мнению, должно было принять столь же публичную форму, как и его Ректорская речь. Его версию происшедшего воспринимают как отписку, уклонение от признания вины. Но публичность в глазах послевоенного Хайдеггера скомпрометирована так глубоко, что требуемое признание заранее рисуется ему актом интеллектуально недостойным, даже нечестным. Знаменитое «молчание Хайдеггера» становится неотъемлемой частью современной философии, а не просто случайным фактом его биографии.

Почему следует с большой осторожностью относиться к идее «аристократического университета»? Потому что когда жизнь даже такого выдающегося философа, как Мартин Хайдеггер, открывается более широкому политическому контексту, выясняется, что, во-первых, он в нем плохо ориентируется (после войны он сам не раз говорил о своей «неопытности»), во-вторых, дезориентированность только подхлестывает его энтузиазм, вызывая «Machtrausch» (выражение самого Хайдеггера), в том контексте отнюдь не невинный, в-третьих, его философия – даже если вербально повторяются известные положения – попадает в условия, которые навязываются ей извне, сохраняя лишь иллюзию автономности, облегчающую ее инструментализацию новой властью.

Ясперс внутренне полемизировал со своим бывшим другом всю жизнь. Интресна его последняя запись о Хайдеггере, сделанная перед смертью:

Hoch im Gebirge auf einem weiten felsigen Hochplateau trafen sich von jeher die Philosophen ihrer Zeit. Von da blickt man hinunter auf die Schneeberge und noch tiefer in die von Menschen bewohnten Taeler [...] Dort treten Philosophen in einen erstaunlichen gnadenlosen Kampf [...] Es scheint, dass dort heute niemand mehr zu treffen ist. Mir aber schien es, als ob ich, vergeblich suchend in den ewigen Spekulationen nach Menschen, die sie wichtig faenden, einen traefe, sonst niemand. Dieser aber war mein hoeflicher Feind. Denn die Maechte, denen wir dienten, waren unvereinbar. Bald schien es, dass wir nicht miteinander sprechen konnten. Die Freude wurde zum Schmerz, zu einem eingentuemlich trostlosen, als

ob eine Moeglichkeit versaeumt wurde, die greifbar nah war. So ging es mir mit Heidegger.²

Итак, бывший друг признается врагом. Финальная сцена, вслед за романтиками и Ницше, разыгрывается в высокогорном ландшафте. Именно в горах, в их чистом разряженном воздухе, и должна состояться дуэль. Кажущийся демократизм не должен вводить в заблуждение - путь на «скалистое плато» одолели только два философа, которые и вступили на нем в борьбу. Хайдеггер оказался «вежливым врагом» не потому, что понимал философию иначе, нежели Ясперс, а так как через них изначально говорили разные, несоединимые силы. Хотя высокогорная дуэль так и не состоялась, в прозрачном горном воздухе по-прежнему множатся вопросы. Зачем было помещать встречу в столь возвышенный ландшафт? Почему разрыв с возвышенным легче декларировать в определенных политических контекстах, чем осуществить в мысли? Почему так высоко не смогли взобраться ни Гуссерль, ни Кассирер, ни Ханна Арендт, ни даже Макс Вебер, которым Ясперс восхищался всю жизнь?

Трудно отказываться от упований молодости, даже если их осуществление столкнулось с непреодолимыми трудностями. Став одним из политических символов новой Германии, Карл Ясперс сохранил в философии ряд аристократических предрассудков своей молодости. По сути несостоявшаяся высокогорная дуэль – это последняя версия идеи «аристократического университета», ответ на вопрос, который Ясперс задал Хайдеггеру в мае 1933 года – кто же те два философа, которые призваны остаться и продолжить свое великое служение. Правда, в этом варианте университет напоминает скорее эзотерическую стычку двух магов.

4. После диктатуры

Современную Россию часто сравнивают с веймарской Германией. Конечно, каждое сравнение хромает и данное не является исключением. Но некоторые из «веймарских тем» популярны в постсоветское время: наступление бездуховности в результате технического захвата сущего, культ подлинности, в рамках которого пересекаются философия и жизнь, общее ощущение трагизма ситуации, предощущение существования некоего туманного «заговора». В период с 1918 до 1933 года эти темы варьировались в работах очень большого числа авторов, в том числе и не принявших национал-социализм. Хайдеггер является одним из наиболее переводимых и комментируемых в России философов; есть несколько кружков,

² Цит. по: Safranski R. 1998. *Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit*, Frankfurt a. M., 430.

членов которых объединяет интерес к философии великого шваба. В их отношении есть элементы культа.

Голос, устный контакт с аудиторией играют в идее аристократического университета существенную роль. Один из лучших преподавателей философии советского периода, Мераб Мамардашвили, который был и моим учителем в студенческие годы, настолько соединился с речевой стихией, с устным воздействием на аудиторию, что последние годы жизни практически ничего не писал. Сейчас у него в России немало подражателей.

Между тем есть также философы – к их числу отношусь и я – которые видят свою задачу в том, чтобы отойти от крайностей устного философствования в сторону большей текстуальности. Дело здесь не в противопоставлении голоса и письма, а в текстуализации голоса как в акте письма, так и в акте высказывания. Преподаватель не должен поддаваться иллюзии того, что когда в аудитории его посещает вдохновение, его плодом является переданная мысль – нет, вместе с мыслью он также передает властный импульс, нетекстуализуемое желание господства. Без этого импульса нельзя обойтись, но нельзя и наивно предаваться ему как чему-то само собой разумеющемуся. Под влиянием Деррида, с которым мне посчастливилось работать в 1990-1992 годах, я стараюсь деконструировать этот импульс. Деконструкция в числе прочего – это новая стратегия преподавания философии, связанная с систематической текстуализацией голоса и с работой с его нетекстуализуемым остатком, которым очень трудно научиться не злоупотреблять. Жак Деррида, Жан-Люк Нанси и Филлип Лаку-Лабарт являются также внимательными и критичными читателями текстов Хайдеггера, в том числе и его Ректорской речи.

Если общество отказывает философии в институтах, превращая их в субституты, не надо понимать это буквально: оно создает институты отказа, т.е. отказ в конечном счете также институционализован. Субституты материально закрепляют то, что общество уже не в силах выносить террор, но еще не может нормально существовать в условиях свободы, которая также жестко структурирована.

Дестабилизация университетской среды объясняется ее недавней историей, хотя многим видится в глубине кризиса нечто апокалиптическое. К тому же у кризиса есть и позитивные стороны, о которых редко говорят. Уже более десяти лет Россия живет в условиях книжного бума, стремительно наверстывая упущенное за годы существования СССР. Едва ли можно назвать хотя бы одного известного философа, чьи основные – а иногда и все – работы не были бы переведены на русский язык за эти годы. Институты высшей школы оказались совершенно не готовы переварить эту массу новых книг, они коллапсируют под ее напором. Впрочем, трудно представить себе институты, которые справились бы с этой задачей за

короткое время. Но ликвидация этого отставания очень важна для будущего философии в России. Пока остается неясным, какие тексты станут учебными для каких кафедр, как они будут читаться именно из этого места, из России, каково вообще место университета в новой констелляции дискурсов. Для этого, повторяю, даже при благоприятном стечении обстоятельств нужно значительно больше времени. Попытки нынешнего университета приспособиться к изменившейся ситуации традиционными средствами, обслуживая запросы политической власти, как правило, неэффективны и отчуждают от него профессионалов (что было уже в советские времена). Но нынешняя власть слабо поощряет эти попытки, оплачивая исключительно услуги узкого круга политических экспертов и имиджмейкеров. Возможно, ситуация будет развиваться по модели условного рефлекса Павлова: если собаке долгое время не давать пищу в условленное время, у нее перестанет выделяться слюна и рефлекс угаснет.

Русский вариант идеи аристократического университета, в отличие от немецкого, едва ли имеет шансы на реализацию, даже на попытку реализации – слишком слабы институты, внутри которых циркулирует эта идея. Диктатуры не способствуют расцвету высшего образования, но это не значит, что логика и последствия диктатур похожи. Большая часть российских университетов возникла при советской власти, у них просто нет другой истории, к которой можно возвратиться. Но и несколько старых университетов – прежде всего Московский и Петербургский, которые до сих пор спорят о том, какой из них старше – утратили свои уставы так давно, что уже нет в живых тех, кто их помнили. Да и раньше, до революции, их зависимость от власти была существенно большей, чем в Западной Европе. В данном случае диктатура оставила после себя практически выжженную землю, и остается только полный неизвестности путь вперед, который пока что выразился в «дикой приватизации» и частичной коммерциализации образования, и как следствие в обветшании унаследованной от СССР инфраструктуры. Кто будет ее восстанавливать, кто заинтересован в качественном образовании, по какому пути – европейскому или американскому – пойдет высшая школа России, пока неясно, во всяком случае мне.

Итак, при нацизме была предпринята (причем, конечно, не только Хайдеггером) неудачная попытка проведения в жизнь идеи аристократического университета, которая на деле привела к подчинению высшей школы диктатуре одной партии, введению принципа фюрерства и т.д. После войны катастрофические последствия такого положения дел были в большинстве университетов исправлены, хотя на востоке, в советской зоне, дела, как хорошо известно, обстояли по-другому. В России диктатура длилась на 60 лет дольше и практически сформировала ту систему, которую пытаются реформировать. Поэтому пока имело место не столько реформирование,

сколько коммерциализация старой системы в интересах достаточно узких групп.

5. Демократии и университет

Но можем ли мы сказать, что антитезой подчинения знания политической необходимости, принимающей форму диктатуры, является его полная демократизация? И, главное, можем ли мы рассматривать демократию как нечто единое, найти ее идеальную модель, из которой выводилось бы все остальное? Мало кто станет спорить с тем, что одной из наиболее демократических стран мира являются США, но их претензия быть самой демократической страной неосновательна хотя бы потому, что нет единой модели демократии, что она по сути своей плюральна. Американские университеты – это мощные, во многом частные фабрики знания с миллиардными годовыми бюджетами (я имею в виду университеты *IVY League* и им подобные), огромной недвижимостью, управляемые *boards of trustees*. Во всяком случае таким предстал моему непрофессиональному взору Корнельский университет, с которым я сотрудничал больше года. Многие американские семьи рассматривают образование как выгодную инвестицию, в него вкладываются невероятные по европейским масштабам деньги. Преимущество этой системы в том, что она очень мобильна, быстро реагирует на изменяющиеся потребности, создавая, если нужно, новые комбинированные отрасли знания: *gender studies*, *women's studies*, департаменты сравнительной литературы (куда, кстати, попала и почти вся «континентальная» философия). Студенты пишут *appreciations*, т.е. фактически оценивают работу преподавателей, что ориентирует последних на выбор тем, которые заведомо вызывают у студентов интерес, особенно если они еще не получили *tenure*, т.е. постоянное место. На примере американской русистики после распада СССР можно видеть, что происходит с отраслью знания, к которой резко уменьшается интерес – значительная часть кафедр просто расформируется.

Эта система отвечает требованиям американской демократии, но не, как утверждают некоторые, демократии вообще.

Неоднократно звучала мысль о том, что конкурентноспособность немецких университетов снижается из-за того, что в Германии знание и его передача традиционно окружаются особым ореолом и отличаются от того, что можно как, например, «Мерседес» просто продать.³ В Европе высшее образование в основном государственное, а профессора не просто нанимаются, но имеют, насколько мне известно, статус чиновников. Это, с одной стороны, делает их куда менее зависимыми от студентов, более

³ Erfurter Universitätsreden. Glotz P. (Hg.), IV-VII, 1998, 87.

консервативными, когда речь идет о создании новых дисциплин. Но, с другой стороны, это же позволяет им добиваться в своих узких академических специальностях достижений, которые ценятся во всем мире, и прививать студентам навыки систематической работы, менее ориентированной на непосредственный успех, чем это случается в недавно синтезированных областях знания. Американская и «континентальная» системы очень различны, и каждая из них обладает существенными преимуществами, на которые ее сторонники справедливо указывают – забывая, правда, указать на связанные с этими плюсами минусы.

Философия как очень старая академическая специальность лучше чувствует себя в европейских условиях. В Америке она преподается на кафедрах сравнительной литературы, а собственно философские кафедры оккупированы многочисленными течениями аналитической философии, представители которых с трудом объясняются между собой, не говоря уж о диалоге с европейской традицией (конечно, здесь есть блестящие исключения типа Ричарда Рорти, которые подтверждают правило).

Даже если допустить (в чем я далеко не уверен), что путь к подлинной конкурентноспособности во всех случаях лежит через возрастающую коммерциализацию знания, то все равно лишь очень немногие «континентальные» университеты могут по нему последовать. И дело не просто в их принципиально иных отношениях с государством. Дело в природе соответствующих государств. В Европе еще в прошлом веке имели хождение такие темы, как «отчуждение», «овеществление», и употреблялись эти слова, как известно, далеко не с положительным знаком. Социалистические идеи неотделимы от развития европейской демократии, в том числе от европейского понимания либерализма.

На мой взгляд, как нет единой диктатуры, так нет и единой демократии, что не исключает и в том и другом случае некоторых общих черт. Простая имитация действий более успешного конкурента, как правило, не ведет к успеху. Из фиаско различных тоталитаризмов в сфере образования нельзя сделать вывод, что неизбежен триумф демократического в американском смысле университета. Демократия не только всегда множественна: она никогда не завершена и при всех своих успехах остается обращенным в будущее упованием. Я с трудом представляю себе американцев обсуждающими Идею университета – не применительно к проблемам конкретного университета – между тем как в Германии это освященная временем традиция. Иногда старые традиции играют положительную роль. Так было в послевоенной Германии, когда восстанавливалась ее университетская среда, основанная на отмененных или урезанных во время диктатуры университетских уставах. Нынешний устав Российской Академии, действовавший и в советский период, был принят еще в XVIII веке, когда

президентом Академии была княгиня Дашкова, сподвижница Екатерины Великой. В сталинские времена его просто игнорировали. Но при Брежневe именно этот архаический устав не позволил властям, несмотря на массивное давление, лишить звания академика Андрея Сахарова.

Нынешняя Россия, конечно, куда более свободна, чем СССР. Но пока эта свобода имеет в основном негативный характер; она напоминает скорее анархию и вседозволенность. И это сказывается на существующей системе образования, которая странным образом соединяет в себе не лучшие стороны американской и европейской системы без их преимуществ. Российский преподаватель либо имеет статус чиновника, но его труд очень плохо оплачивается, либо он немного лучше оплачивается в частных учебных заведениях, которые берут на себя обязательства без намерения – и часто возможности – их выполнять. Как и во всяком правиле, в этом есть свои исключения; в основном это образовательные учреждения с иностранным участием, финансируемые международными фондами и «образцово-показательные» на советский манер.

Ситуация в России не дает особых оснований для оптимизма, но, тем не менее, я хотел бы закончить своей текст словами, которые произнес в лекции о России Волфганг Леонгард: «So tief die Krise, so schwierig und langwierig ihre Ueberwindung, so sehr wuerde ich gleichzeitig vor Katasrophenszenarien warnen».⁴

mikhailryklin@mtu-net.ru

⁴ Ebd. 60.